

Кривулин Виктор (символ)

01.04.01.

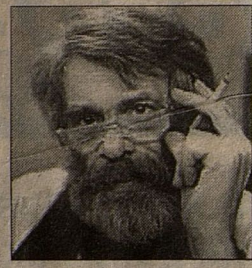
ПАМЯТИ ВИКТОРА КРИВУЛИНА

Новая газ. - 2001 -
тапр. - с. 22.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕПЛОТЫ

Я бы хотел умереть, зная, что умираю
смертью свободной,
ничем не навязанной смертью.

Виктор КРИВУЛИН.
«Посылка баллады». Март—май, 1978.



Есть стихи, как бы заведомо отложенные про запас, на потом, надолго. В них нет того простого лиризма, который захватывает нас, прежде чем мы начнем что-то понимать. Такие стихи необходимо понимать с самого начала, так или иначе, но понимать: без этого не обойдешься. Поэтому они трудны. Это не только случай Баратынского и Тютчева (с которыми Виктор Кривулин всегда сознавал свое родство: **Я Тютчева спрошу: в какое море гонит Осколки льда советский календарь, И если время — Божья тварь, То почему слезы хрустальной не проронит?**), но во многом и позднего Пушкина.

Я думаю, что в этой трудности — единственная извиняющая причина тому, что поэзия Кривулина осталась у нас до сих пор по существу не оцененной и не получившей достойного обсуждения. Не извиняющих причин бездна, но говорить о них неинтересно. Поразительно, насколько больше внимания привлекли и привлекают стихи и проза, несопоставимые с тем, что делал Кривулин, ни по своей смысловой насыщенности, ни по формальной и культурной обеспеченности, ни по реальной новизне. Да что говорить — просто по своему словарию, по качеству слова. Впрочем, пожалуй, и не поразительно...

Но теперь, прощаясь с Виктором Кривулиным, который всегда оставался для меня Витей (нашему знакомству почти тридцать лет), мне хотелось бы думать прежде всего о его поэзии: мне хотелось бы, чтобы именно об этом начали думать. Это важнее и интереснее другого: Кривулин — дитя артистического подполья и во многом создатель «второй культуры», Кривулин — выдумщик, любитель и постановщик авантюрных и абсурдных ситуаций, о котором и от которого все слышали столько невероятных историй; наконец, Кривулин последних лет — участник реальной политики, — все это в конце концов второстепенно в сравнении с его стихотворным трудом, музой которого была, как мне представляется, Клио, «ведьма истории». Так она названа в одном из вершинных стихотворений Кривулина — «Клио». Вот

она, свидетельница истории, на вселенской панихиде:

Всех отходящих целую — войска, и народы, и страны — в серные пропасти глаз или в сердце ослепшее глин.

Последнее сочувствие, необъяснимый и неожиданный прощальный поцелуй — как единственный итог всего «отходящего». Такой историчности, отстраненной и экзотичной одновременно, русская поэзия, вероятно, не знала. Эту возможность предоставило художнику наше время, которое называют «временем ГУЛАГа и Аушвица»: внеисторичного больше нет.

А это значит: нет ничего абсолютно близкого, совершенно «своего» (поскольку человек не может отождествить себя целиком с историчным) — и нет ничего совершенно чужого. Отстраненность и втянутость требуется как-то согласовать. В лирику, как в летопись, входит все — но это не наивный, а метафизический эпос, «рот, готовый прилепиться ко всему».

В лирике Кривулина реплики Мандельштама («выпуклая радость узнавания», «наука расставания») и Ахматовой («Как хорошо, что некого терять») перенесены в послекатастрофический мир. Глубина этого времени схвачена, как разлука, утрата, отсутствие. Это было открытием семидесятых. Медленно и болезненно выяснялось, что же, собственно, отсутствует. Среди другого — и это: *тихий свет любви и любованья*, фатально невозможный в джунглях советского быта.

Все те, кто принимал эту увечную реальность за полную и настоящую, за неисторическую, оказались чужими — а ведь это были почти все! И часто — самые близкие: в такой чужой семье рос и Кривулин.

Из брошенных кто-то, из бывших, не избран и даже не зван...

Но открытие этого глубочайшего сиротства и уродства наличного существования несло с собой какую-то радость и свободу. Победа и простое благополучие в таком мире выглядели бы оскорбительно и смешно.

Я выбираю поражение, как выход или выдох чистый.

Уже лет двести как некую свежую новость переживают скрепление поэзии и прозаизма. Но есть скрепление неожиданное и труднее: это скрепление аналитичности и самозабвения, иначе

— историчности и лиризма. Лирика по существу моментальна и точечна. Лирика, как определял ее Поль Валери, «членораздельно выражает то, что нечленораздельно пытаются выразить крики, слезы... поцелуи». Историчный же взгляд как будто бесконечно далек от того, чтобы выражать «слезы и поцелуи», — он исполнен внимания и вдумчивости. Но во что вдумывается кривулинский Летописец?

Он пишет не хронику: он пишет «желанное пророчество о скором конце вселенной».

История — разворачивание во времени «скорого конца вселенной» — у Кривулина оказывается вещью той же природы, что миф: историческое располагается везде и нигде, никогда и всегда.

Но Летопись Кривулина знает другой «конец времен», внутри истории — конец человеческих времен.

Финал стихов «Александр Блок едет в Стрельну»: **Он шутил — и я смеялась, он казался оживленным... Две недели оставалось до скончания Времен.**

Ирония, патетическое проклятие, гротеск, холодная игра — все эти позиции отторжения истории стали отчетливо рутинными.

Предложение Кривулина я назвала бы возвращением теплоты — но уже осознанной, *знающей* теплоты. Знающей, что утрата очеловечивает и мучение приобщает к «сердцу мира». Нужно ли говорить, что при всей программной имперсональности это и был интимно личный опыт?

Никто из тех, кто общался с ним, не вспоминал о его увече, о той боли, с которой он с детства жил, — казалось, как ни в чем не бывало, ничуть не напоминая при этом героев самопреодоления. Мы забывали, чего это стоит. И — с благодарностью ему — не будем вспоминать и дальше. Но не перестанем видеть:

— Мы глаза, он сказал, не свои: нами смотрит любовь на страданье земное... Я сидел на грязной земле. Я шептал — не ему — «смотри».

● Ольга СЕДАКОВА
20 марта 2001 года

65